

Глава 1

Ботанический сад

Мальчик с томом Сервантеса выходит из подъезда, огибает автомобиль, который какой-то негодяй поставил так, что пешеходы еле протискиваются мимо, и сворачивает за угол. Перед ним пустынные кварталы, поля и высоковольтные вышки, а в физиономию дует ветер — как везде в Петербурге, но в этом районе особенно. Рядом море.

Архитектор раскрасил панели домов в оранжевый и бордовый, чтобы однообразное серое не свело район с ума. Расстояния между корпусами напоминают о заполярных городах, где возводить что-либо можно лишь на сопках, а дворы имеют сторону в километр. Летом они зарастают одуванчиками, разнотравьем и камышом. Вокруг осушенные болота.

Сканируя пространство на предмет гопников, мальчик с книгой идет к трассе. Некоторые многоэтажки недостроены, а улицы недочерчены. У одного корпуса поставили стилобат, а потом, видимо, куда-то просадили деньги — осталась бетонная коробка. Внутри нее горят костры и сидят парни, курят, треплются и малюют граффити. Весной разливаются лужи, и парни сколачивают плоты, чтобы перебраться с континента «Камышовая» на континент «Ситцевая». Маячат котлованы, наполненные мутной водой. За ними чернеет лес.

Перепрыгивая через лужи, мальчик проходит недострой и выбирается к дороге, по которой век назад возили торф. Справа забор кладбища и березки у надгробий. Слева перекопанная площадь, окруженная скелетами панельных многоквартирных гигантов. Гиганты глядят свысока на рабочих в отсыревшей одежде, которые поднимаются из-под земли, где вот-вот — ожидание затянулось на годы — откроется новая станция, последняя на ветке.

Несколько лет мальчик ходил к площади по грязной тропинке, и ему казалось, что он перемещается в предместье Аида: перед ним возникли строй теней — пенсионеры и несуны с завода продавали метизы, подшипники и еще что-то из подвергшихся насилию металлов; когда метро наконец ожило, тени исчезли. Пока же метро не открылось, дорога мальчика к ближайшей станции и оттуда до школы лежит через подблочечное поле, засеянное бетонными столбами и их обломками. Наверху в проводах гудит электричество. Сереют трубы, а зиккурат фабрики, выпускающей фотоаппараты, сбегает вниз ступеньками — тупыми серыми блоками.

Оглянувшись, мальчик форсирует торфяную дорогу и упирается в поле. Перед ним заброшенный аэродром и остатки военной базы. Бомбоубежища, накрытые искусственными холмами, и закрытые на замок корпуса, бункеры. Он взбирается на холм и разглядывает дымящиеся горы мусора вдали. Когда ветер дует неудачно, сталкер ощущает присутствие ужаса квартирных маклеров — помойки. Пейзаж как бы говорит: больше трэша, больше ада.

Но в этот раз дым не долетает, пахнет морем. Мальчик, устраиваясь на крыше бункера, открывает книгу и погружается в нее. Гопники сюда не забредают, да и вообще кругом живет мало людей. Он худой, невысокий, не различает буквы на третьей строчке снизу; логопед не плакал по нему, а пожалуй, справлял тризну. И он торчит часами на крыше в одиночестве, если не считать Сервантеса.

Он мог бы пригласить с собой братьев, но старший, сводный, Михаил — взрослый, жил отдельно от матери, а средний, Николай, был настолько умен, что не интересовался аэродромом. Когда Николаю было три года, родители сажали его на свободное место в троллейбусе и выдавали книгу — например, «Популярную астрономию». Никто из попутчиков не верил, что ребенок ее читает, — рассматривает, поди, — но Николай читал. Он рано выучился арифметике, а в семь лет

щелкал кубические уравнения. Однажды его даже зазвали в телевизор на шоу вундеркиндов.

Это произошло, уже когда семья перебралась с Балтики на Адриатику. Отцу, доктору филологии, предложили учить иностранцев русскому языку в Индии или Италии. Индусы манили поместьем с садом, прислугой, комфортом. Итальянцы известили, что главу Института русского языка ждут в однокомнатной квартире, но в Турине. Что выберет латинист?

В общем, «мальчика с Сервантесом» — то есть Павла — не взяли в стесненные условия и оставили бабушке, пока не наладится быт. Та жила на Невском проспекте в тридцатиметровой комнате, окруженной чистилищем коммуналки. По блокадной привычке крутила страшное количество консервов и заполняла полки банками. Семья не сообщила Павлу, что летит в урезанном составе. Когда объявили едва ли не в последний момент, он, четырех лет от роду, не переварил это известие и начал бить банки предательства.

Бабушка паниковала и жаловалась родителям: мальчик капризный и неуправляемый. Среди ночи он щелкал кнопкой телевизора и пялился на экран. Показывали заседание во Дворце съездов, и его, как многих детей, захватывал поток непонятных и интересных слов: «президиум», «кандидат», «перестройка», «гласность», «кооператив». Его первое воспоминание о себе — как сидел на ковре и строил из кубиков башню. Второе — как ставил кости домино одну на другую, стараясь забраться как можно выше, пока стела не рухнула.

«Иступленное стремление к созиданию изначально есть практически у всех, просто у меня оно осталось по мере взросления и не было вытеснено псевдоценностями общества потребления, — этот пассаж высветился на экране в половину четвертого одного июньского утра. — Возможно, потому что я сохранял голову в чистоте: не смотрел телевизор, не читал газет, не принимал на веру мнение авторитетов».

Мы переписывались восемь часов подряд, отвлекаясь на разговор с редактором (автор) и консультацию разработчиков (герой). Подумав, Дуров добавил: «А может быть, это не причины, а следствия. Все, ухажу, я сегодня еще не ел».

Позднесоветский детский сад мало отличался от современного — раз ты прописан в таком-то районе, значит, твоя тарелка манной каши именно там. Тусклыми утрами мальчик и пожилая женщина выходили из подъезда, пряча глаза от ветра, и ждали троллейбуса. Цепляясь за перила, лезли в него, как альпинисты по веревке, и тратили часы своей жизни, чтобы достичь окраины. Так Дуров возненавидел бюрократию.

Через несколько месяцев мать прилетела и забрала его с собой. В итальянской школе детей учили иначе, никакого принуждения. Тогда-то педагоги и опознали в его брате Николае вундеркинда, а телевизионщики рекрутировали на телешоу.

Павла никуда не звали. Но, во-первых, ему перепало от эрудиции брата. Родители, уложив их, гасили свет и уходили, после чего старший пересказывал младшему самое интересное из прочитанного за день: созвездия, логарифмы, *origin of species* и т. д. Они, разумеется, дрались и дулись друг на друга, но старший не жадничал и делился тезаурусом.

А во-вторых, младший брат был одарен по-своему. Когда в семью приходил гость, он брал карандаш и бумагу и под кухонный диспут рисовал прибывшего. Перед тем как портретируемый собирался прощаться, ему демонстрировали картину — и часто сходство сражало; конечно, если учесть, что автор — первоклассник.

Возвращение на родину далось трудно. Павла ждала приличная школа, где он совсем не страдал, пока однажды не понял, что знает английский лучше, чем пришедшая на замену заболевшей англичанке девушка. Он так и сказал ей: «Вы плохо учите». Похожий конфликт тлел между ним и преподавателем русского.

Ученик плевал на субординацию и считал важным лишь то, что англичанка делает ошибки, — и почему в таком случае директор ждет, что он заткнется?! Возраст он не считал чем-то, что обеспечивает авторитетом, — еще с той поры, когда бил банки. Есть факт, и ничто не должно его затмевать. А факт в том, что... и т. д.

«Я боролся со страхом, — вспоминал потом Дуров. — Учитель держит всех в магическом оцепенении — если все не замолчат, произойдет что-то ужасное. Надо расковырять это ужасное. Ну, встану я и заорю — что она может сделать? Исключат из школы? Но даже в этом случае есть плюсы. Я и то и другое огреб — и тройку за год, и исключение. А есть люди, которые боятся самого страха».

Родители узнали быстро. Отец подчеркивал, что не надо идти на конфликт, но учителей не защищал. Мать сочла, что сыновья разумны и воспитанны и вряд ли ни с того ни с сего станут хамить учителям; очевидно, учителя проявили недостаточный профессионализм — не смогли справиться с сыном.

Ей самой в старших классах однажды прислали другого физика, и она из чувства протеста подбила класс уйти в кино. На других предметах, если ее что-то не устраивало, выходила к доске нарочито вежливо. «Отвечайте урок». — «Это [допустим, формула] так-то?» — «Да». — «Это [первый ход решения] так-то?» — «Верно. А дальше?» — «Я не знаю...» Класс понимал, что вожак все знает, но протестует и защищается.

Отличница чувствовала за собой право на саботаж. Она росла в Омске, рядом с переселенцами-немцами, и выучила их язык. Блестящие способности. Когда ее мама заболела раком, решила участвовать в изобретении лекарства против опухолей и подала документы в Хабаровск на медицинский. Затем уехала в Ленинград. Выбирая, где учиться, определилась с журфаком и поступила без особых проблем.

Непонятно, какая школа взяла бы ее сына с трудным характером, если бы действие разворачивалось не в Петербурге — колыбели интеллигенции, которая веками строила социальные связи, чтобы выучить детей в приличных заведениях. Друзья отца, филологи Русаковы, после открытия педагогической вольницы возрождали систему классического дореволюционного образования — в собственной школе. Тогда, в 1992 году, им повезло — Академической гимназии при университете достался крупный транш от Министерства образования. Накал энтузиазма в то время был высок, о «пилежке» средств речи не шло — поэтому Русаковы под свои «общеобразовательные классы» получили деньги и арендовали Аничков дворец на Невском.

Педагогическая идея в целом выглядела так. Если ребенка учить с малых лет математике и языкам, он научится думать и воспринимать информацию таким образом, что новые науки и умения освоит без труда. От классического образования оставили латынь, заканчивающуюся в выпускном классе «Записками о Галльской войне», английский, французский и немецкий языки, которые вводились последовательно.

Сперва классы жили в роскоши, учеников возили по Европе, и они едва ли не столовались по талончикам в «Метрополе». Русаковы как люди талантливые, но непрагматичные, считали, что школа должна быть бесплатной — чтобы могли учиться таланты из бедных семей. Затем деньги иссякли, и энтузиасты съехали в плохо отапливаемые помещения университета. Классы предложили родителям сдавать 83 рубля в месяц — в тот момент минимальная оплата труда, — но родители отказались. Гимназия поставила экспериментаторам ультиматум: «Самоокупаемость или роспуск», и Русаковы ушли. Началась эпоха мытарств. Тогда профессор Дуров и привел в классы заносчивого младшего сына.

Мальчика пригласили пройти отбор — письменный тест, затем задачи на лингвистическое чутье. Предлагалось ознакомиться с текстом, написанным на несуществующем языке, — и, разобравшись в его структуре, с помощью скудных вводных догадаться, о чем идет речь. Дуров проанализировал имеющуюся информацию и сдал листок с ответом. Все оказалось верно, и последующее собеседование было почти формальностью.

Новый директор Григорий Медников снимал помещение в конструктивистском доме культуры у «Нарвской», где в 60-х на поэтических турнирах являлся публике Бродский. Английский учили в аудитории, которую оккупировал клуб анонимных алкоголиков. Историю — в помещении, где адвентисты разучивали за партами гимны. Рядом «зажигал» клуб «Пляшущий пенсионер». Дорога в эти остросюжетные обстоятельства занимала у Дурова час: автобус до метро, пересадка, эскалатор и немного пешком.

Я помню Петербург того времени. Декабрь, утро. На улицах тусклый свет, аэродинамические трубы подворотен, сугробы, как морены ледника, ползущего по мостовым. Ощущение, что город сплотился, чтобы пережить темень этих месяцев.

Хозяйка, у которой вписывались друзья, жила по адресу Большая Морская, дом 2 — то есть почти в арке, выводящей на Дворцовую площадь. Тревожить ее было неприлично, поэтому мы пробрались переулками к трамвайной линии, чтобы выспаться на протяженном маршруте. Вверху болтались фонари, неслись по касательной люди-фуляры, спешащие скорее прятаться от ветра, чем к рабочему месту. Двери в трамвае стреляли, как красные матросы, и вздремнуть не удалось. Надежда скоротать время в Ростральной колонне пропала, когда за дверью, ведущей в ее недра, мы нашли спящих бродяг.

Вывалившись из стреляющих дверей, толкаясь среди замерзших футляров, к метро устремлялся и Дуров: «Я помню очереди на подступах к станции. Метров за сто. Самое опасное место — поручень, туда выносило тех, кто не сопротивлялся».

Он оказался самым младшим в классе. Сначала сидел за партой с девочкой Тасей, которой нравился. Одноклассники вспоминали, что Тася зачем-то носила соседу медяки, копеечки, и он пересыпал их в портфель. Позже Дуров оккупировал первую парту, где пребывал чаще всего в одиночестве, ссутулившись над тетрадами или рассматривая — третья строчка снизу яснее не стала — то, что нацарапано на доске.

До старших классов у него не было друзей. Исключение составил товарищ, с которым они проучились неполных два года. Этот ученик одним своим присутствием спасал общеобразовательные классы от развала.

Каждое утро Слава ехал в школу на лимузине с охранником, разглядывая в окно сонный Кировский район. Он тормозил авто за три квартала, вылезал на тротуар, продевал руки в лямки рюкзака и шагал к Дому культуры, не глядя на проезжую часть. Там, прикидываясь, что хочет припарковаться, полз лимузин. Молодой человек был сыном короля игорных заведений города Михаила Мирилашвили.

В общеобразовательных классах тусовались дети интеллигенции, и не каждая семья с легкостью вносила оплату, которую пришлось ввести. Например, для Дуровых это было существенной тратой. По закону голливудо-болливудских драм столкновение Славы с гордыми детьми, занимающими унизительную вторую, если не третью полку в социальном купе, вело к неизбежному конфликту.

Однако сюжет развивался в колыбели интеллигенции, а не в «Голли-Болли». Слава оказался вежлив, корректен, учился не хуже прочих. На переменах сын миллионера бегал в пышечную и влетал в класс,

держа в руках замаслившийся пакет с выпечкой. Дуров оказался едва ли не единственным, с кем подружился Слава.

Жизнь в классе бурлила. Предводители Диевский и Паперно придумали свое государство и написали конституцию. Класс играл в демократию, избирал президента и т. д.

Дурова, может быть, это и волновало, но вида он не показывал, иронически улыбаясь массовым развлечениям. Его одолевали собственные идеи об успехе и власти. Сидя на крыше бункера у аэродрома, он штудировал Кастанеду в компании с Наполеоном Хиллом. «Ты — то, что ты думаешь; думай и богатей».

Однажды класс проходил «Обломова». Илья Ильич как зеркало русской души. Дискуссия. Большинство соглашается, что главный герой добр, безвреден, а Штольц вполне бездушный немчура, механизм и чужеродное тело на славянских просторах.

Руководил обсуждением Николай Гуськов, учитель словесности, известный тем, что любил средневековую литературу. Итальянцу Дурову нравилось, что Гуськов фокусируется на малоизвестных течениях — например, прованских или ломбардских трубадурах. Правда, эта симпатия не отменяла его «идеи фикс» — быть во всем *contra* *grain*, противоположным общепринятому взгляду на вещи.

Выслушав про нежную душу Обломова, Дуров (о русские дворянские фамилии!) поднял руку. Гуськов дал слово. «Я считаю, что произведение, поэтизирующее лень, следует исключить из школьной программы», — проговорил Дуров. Класс вздрогнул и вышел из оцепенения. Дискуссия свернула на непредсказуемую дорожку.

«Лень упрятана глубоко у нас в культуре — „работа не волк“ и т. д., но людская лень — это все ж таки плохо с точки зрения развития экономики, науки и искусства, — продолжал менторствовать Дуров. — Ничего неделанье ведет к регрессу и распаду. Поэтому для всей нашей страны, да и культуры, было бы лучше, если бы люди были по

возможности менее ленивыми. А что делает Гончаров? Он поэтизирует лень. Заставляет ей сочувствовать с помощью милого Обломова. Активную жизненную позицию он, напротив, дискредитирует с помощью механистичного Штольца. В итоге роман не мог не отразиться негативно на многих сферах человеческой деятельности в нашей чудной стране».

Гуськов не удивился. Он привык, что резонер не просто гонит против всех, а ищет аргументы и доказывает. Кроме Гончарова под шквал ругани уже попадал Достоевский: «Я считаю, что он ужасный писатель, потому что...» Далее шло доказательство через психологию, неувязки в сюжете, избыточность языка.

В другой раз класс чуть не передрался из-за «Вишневого сада». Интеллигентные дети порицали купечество в лице Лопухина, влезшее сапогами в кружевную душу Раневской, а Дуров орал, что Лопухин — человек дела; помещики сами сгубили сад по лени и бездарности.

Один из его прадедов был дворянином и помещиком, а другой — зажиточным земледельцем. Обоих лишили собственности красные иждивенцы. Поэтому нелюбовь к грязи, получающей все, содержалась в крови Дурова изначально.

Позже, в университете, он отправится в дискуссионный клуб, где позицию оратора выбирает жребий и считается удачей защитить, к примеру, фашизм. Личные убеждения многие отобьют — а как насчет тех, что признаны преступными?..

Гуськов был доволен — спор запыхал, девочки набросились на Дурова, доказывая, что Обломов хоть и слабый человек, но порядочный, добрый и т. д.

Директор привлекал таких, как Гуськов, всеми правдами и неправдами. Сам Медников был опытным учителем математики, дети его обожали и называли за глаза и в школьном фольклоре Гризом (от медведя гризли). Он быстро все понял про Дурова и не давил на

ученика, подбрасывая задачи посложнее. Когда удавалось заразить идеей, Дуров приносил невиданные объемы решенного. Будучи незаинтригованным, показывал средние результаты.

Медников приглашал ученых, способных рассказывать детям всякие занимательные штуки. Так в классы угодил Евгений Нинбург — известный гидробиолог, который увлекал детей тем, что был не кабинетным теоретиком, а месяцами пропадал на Белом море и возил недорослей в экспедиции. Нинбург преподавал теорию популяции и эволюции.

Как-то раз в ресторане «Терраса» с видом на Казанский собор, разламывая хлеб резкими движениями и скатывая из него шарики, Дуров рассказал, как эти теории взорвали ему мозг. Он отшатнулся от позитивной психологии и Хилла и стал воспринимать людей как продукт среды, естественного отбора. Если дать человеку выбор, он выберет, что хочет, — и результат будет достойным вознаграждением за этот выбор. Да, есть вопрос, стоит ли поручать людям выбор. Люди ведутся на манипулирование, выбирают иррационально. Но и манипуляции, и маркетинговое зомбирование, и политика — это тоже поле интеллектуальной конкуренции, а конкуренция была и осталась главной святыней Дурова.

Еще одно знание, приобретенное через Нинбурга и сыгравшее некоторую роль во всем, что происходило с «ВКонтакте», — о поведении человека. Однажды, спускаясь из штаба по лестнице, устланной ковровыми дорожками, Дуров пересказывал мне известный эксперимент с обезьянами и электричеством.

Обезьян посадили в клетку и регулярно подбрасывали им бананы. Но, как только кто-то брал эти бананы, группа получала удар током. Вскоре тех, кто тянулся за бананом, били свои. Затем старожилы по одному начали менять на новоприбывших особей и в какой-то момент отключили электричество. Но все равно группа саморегулировалась

так, что новоприбывшим запрещали касаться бананов. В финале клетка наполнилась приматами, которые ни разу не получали удар током и даже не общались с теми, кто получал, — и эта группа хранила священный ужас перед прикосновением к желанной и безопасной еде.

Когда мы вышли через крутящиеся двери на ночной Невский, я спросил: «И зачем вы это рассказали?» «Да так, размышляя об этом эксперименте, я лучше стал понимать суть человека», — пожал плечами Дуров.

Алексей Руткевич вел у гимназистов спецкурс по психоанализу и рассказывал, как психика может влиять на вербальное и визуальное творчество. Юнг, Фрэйзер; развитие мозга человека с внутриутробного периода; как определить психотип. Руткевич учил школьников рассчитывать размер своего мозга, а потом уточнял — у кроманьонцев объем мозга был еще больше, но извилин меньше.

Руткевич навел Дурова на тексты изобретателя IQ-тестов Ганса Айзенка. Айзенка подвергали обструкции, к примеру, за утверждение, что у черной расы пространственная и вербальная логика хуже. Дурова взбесила политкорректность, не позволявшая признать, что люди одной национальности могут быть более или менее успешны в каком-либо роде деятельности, чем люди другой национальности.

Тогда же, в девятом классе, он прочитал Фрейда и позже, когда выбирал цвета и логотип для «ВКонтакте», мысленно слал поклон учителю. Выпуклая женственная буква «В», набранная обычным шрифтом без засечек, Таhоmа. Красный огонечек оповещений, загоравшийся в Facebook, Дуров копировать не стал и третий цвет, черный, ввел только вместе с всплывающими окнами оповещений.

Когда он выбирал нейтральные цвета — синий и серый, — вспоминал уроки, на которые приходил художник, друг Медникова,

периодически в подпитии, и рассказывал про Рафаэля, Микеланджело, пропорции, свет. Раз в неделю он брал класс с собой в Эрмитаж. Короче, Дуров учился у людей, стосковавшихся по свободе творчества и любящих делиться. Однако их педагогическая синекура цвела на фоне закручивающейся диссидентской истории — школа вечно пребывала в статусе гонимой.

Когда Славу Мирилашвили отдавали в это заведение, педагоги еще как-то выкручивались с арендой. После того как их выгнали из дома культуры с «Пляшущими алкоголиками», Михаил Мирилашвили взялся помогать с арендой нового помещения. Но союз педагогов и хозяина «одноруких бандитов», чей офис квартировал в бронированном особняке, просуществовал недолго.

Ночной звонок простучал как пулемет. Медников схватил трубку. Человек, отвечавший за безопасность семьи Мирилашвили, извинился за беспокойство, но дальше говорил настойчиво.

Шефа обвиняют в похищении людей, Славу срочно эвакуируют в Израиль. Надо как можно быстрее передать его личное дело и мед-карту; насчет помощи школе решим позже.

Дождавшись утра, Медников приехал в свой кабинет, откопал в сейфе нужные бумаги и выдал их прибывшим посланцам. Слава улетел, после чего они с Дуровым не виделись семь лет.

Классам продолжили «делать биографию». Их хотели приручить, посулив новый дом: выселяйте ПТУ у Смоленского кладбища и забирайте помещение. Полторы сотни учеников и их родители давно осознали, что они диссиденты и подмоги ждать неоткуда. Орда, желавшая учиться по своим законам и у своих учителей, вскрыла замки и вывезла станки.

Когда Медникову дали подписать устав, он с изумлением обнаружил, что в бумаге проставлен другой адрес. Власти оказались хитрее

диссидентов, выгнали пэтэушников их руками и хотели передать отбитый дом университету.

Классы подняли бунт, и школу закрыла санэпидемстанция. Ее визиты были чем-то вроде ритуала. Когда мы условились с Медниковым встретиться на Черной Речке, первое, что он сделал при появлении, — протянул мне книжку о классах, с фольклором, славословиями и статьями, зачем обществу нужны люди Ренессанса. Половина песен, которые сочинили ученики, описывала, как среди урока в класс вламываются пожарники, санитары и другие слуги народа.

Октябрьским утром приехавшие со всего города бунтовщики увидели перед носом замки на дверях. Учителей отрезали от личных вещей, оставленных в классах.

Гриз смог войти в здание лишь в январе. В одну из комнат кто-то из учеников принес цветы и аквариум, когда начинали обустроиваться. Отперев комнату, директор увидел сухие стебли и глыбы льда с застывшими кусками рваных оранжевых лент. Присмотревшись, он понял, что это замерзшие рыбы.

Школу приказали размазать по соседним учреждениям. Но диссиденты скандалили громко и умело, созвали митинг у Мариинского дворца. Город обратил внимание, что из-за склок дети пропускают занятия, и решил вернуть классы гимназии — пусть доучиваются, но новых набирать нельзя.

В новом здании впервые возник компьютерный класс и начались приключения, связанные с дуровскими штучками. Павел как раз учился программировать и однажды утром завесил экраны всех компьютеров портретом учителя Михаила Бараза с надписью «Must die». Начались догонялки. Учитель закрывал ученику доступ к сети, а тот раз за разом взламывал пароли.

Дуров так надоел Баразу, что тот дал ему задание написать игру — проект на несколько месяцев. Две недели информатик отдыхал, но

отпуск кончился внезапно — к нему явился Дуров с готовой игрой, написанной во Flash.

У хакера был свой раздражитель. Брат Николай попал в систему тех же математических кружков, из которой вырос Григорий Перельман и другие топологи и геометры. Его вычислил на городской олимпиаде известный тренер Александр Голованов и заманил в кружок не менее известного Сергея Рукшина — учителя Перельмана. Вскоре после этого Николая рекрутировали в знаменитую «единичку» — спецкласс 239-й школы, где учились призеры олимпиад. Помимо математики он с головой погрузился в программирование.

Школа славилась тем, что в первые два класса параллели — «единичку» и «двойку» — набирали гениев. Гении росли и начинали понимать следствия из того, что аналоговую эпоху сменила цифровая. Интернет дает возможность им, нёрдам в стоптанных сандалиях, создавать программы, игры, пространства, которые неподвластны тем, кто думает менее изящно и быстро.

Власть капитала пасует перед властью таланта. Если коммунисты прятали нёрдов в институты-ящики, создавая годный для выживания и удовлетворения амбиций климат, — то теперь они вырвались на волю и строили продукты, меняющие мир. Путь им указывали Стив Джобс, Билл Гейтс, Сергей Брин, Линус Торвальдс, Джимми Уэйлс. Все перечисленные слыли ботаниками. Когда программные продукты и интернет-сервисы вплотную приблизились к жизни потребителя и стали ее ежедневным инструментом, как зубная щетка или автомобиль, нёрды ощутили власть и вошли во вкус.

Впрочем, в 239-й школе лишь небольшой процент гениев совпадал с образом аутичного носителя очков с гигантским «минусом». Когда «единичка» приезжала в летний лагерь на озеро Зеркальное, отряда математиков боялись все остальные, потому что парни обыгрывали всех в футбол и были не дураки подрасться. На переменах из дверей

школы вываливались старшеклассники и расползались по прилегающим дворам под названиями «Дымок-1» и «Дымок-2». В соседней школе сдвинули звонки, чтобы за гаражами не дрались, например, за девочек. Милиция часто навевывалась в «дымки».

Но, конечно, лучшими в классах были хронические нёрды. Именно они — концентрировавшиеся на страсти к математике, реже к физике и биологии — достигали мирового уровня в науке. Остальные превращались в высокообразованных менеджеров, журналистов, маркетологов — в общем, вливались в креативную страту, которая создавала что-то для конечного потребителя. Им, как и в школе, где учился Дуров, внушали, что именно они интеллектуальная элита и что от них зависит будущее страны. Если не мы, то кто?

Николай Дуров относился к хроническому типу. Он выиграл сначала российский чемпионат по программированию, а затем и мировой. Мама, исправно посещавшая родительские собрания, благодарила Медникова за то, что он не давил на Павла так, как в «единичке» тренировали Николая. Медников ругал идейного вдохновителя маткружка Рукшина — мол, когда у ребенка нервный срыв или энурез из-за нерешенной задачи, это ненормально: «Он, наверное, самый великий тренер по математике в мире, но у него на первом месте математическое, а на втором человеческое. Я не отдал бы ему своего внука».

Николая звали судить соревнования. Ученикам раздавали задачи, они их решали, а потом судьи определяли, кто справился элегантнее. Дуров-старший не принимал участия в обсуждениях, рисуя что-то на бумаге, а когда спрашивали его мнение, часто показывал лист с верным решением задачи или просто рассказывал, как правильно было бы с ней разделаться. Коллегия произносила что-то вроде: «Что ж ты молчал!» — и меняла свои вердикты.

Николай был совершенно погруженным в свою страсть человеком, далеким от денежных, карьерных и других суетных стремлений. Когда

ему доводилось выступать на публике, он, покачиваясь с ноги на ногу и глядя в потолок, кратко обрисовывал смысл своих изысканий и быстрее отправлялся к доске, где чувствовал себя увереннее, имея перед глазами формулы.

По своему типу Дуров-младший находился где-то между ботаниками и активными умниками, а может, и сбоку. Как-то раз он прочел в эссе Пола Грэма «Почему ботаники непопулярны», что нёрды не хотят быть самыми красивыми или успешными в понимании большинства (хотя глупо думать, что это их не волнует) — они хотят быть самыми умными.

Нельзя утверждать, что Дуров свирепо завидовал старшему брату, но конкуренция с ним подстегивала. Он тоже записался в кружок программирования и летом съездил на Зеркальное. Там его попросили прочесть лекцию о языке паскаль.

Дуров вышел перед несколькими десятками незнакомцев, обвел аудиторию рассеянным взглядом и, запинаясь, начал вещать. Прошло несколько минут, и, почувствовав, что слушают, он заговорил более уверенно и после лекции свободно отвечал на вопросы.

Он превращался из худого мальчишка, согнувшегося над партой, в более общительного, но по-прежнему отстраненного товарища. Портрет со слов одноклассников: «Всегда находил способ быть отдельным»; «Некомандный человек»; «Никогда не был органичен»; «Внутри него шла работа, которая наружу не прорывалась».

Дурова захватывала идея эффективности. Как успевать на отлично сразу по нескольким предметам — это было продолжение вызова кастанедовско-хилловского: «Ты можешь все». Дуров концентрировался на учебе, и даже программирование, которое затыгивало его все сильнее, отошло на второй план.

Из всего класса на серебряную медаль тянули двоих — его и Аню Бертову. Впрочем, они, как и большинство учеников, разговаривали

без всяких «Ань» — только на «вы» и по отчеству. Это были интеллигентные дети, инфильтрованные диссидентством и порожденным им чувством избранности. «Здравствуйте, Павел Валерьевич». — «Добрый вечер, Анна Дмитриевна». После уроков с ними занимался Гриз.

Закончив тесты, они шли домой и болтали на нравственно-этические темы. Дуров утверждал, что ежели кто беден, то потому, что ленив и неспособен поднять зад для великих свершений. Бертова приводила в пример родителей, астрономов, которые вели себя отнюдь не пассивно, но жили не в роскоши.

Так они спорили до июня, когда получили по серебряной медали — золотая оказалась недостижимой. Бертова как воплощенная педагогическая идея о человеке Ренессанса готовилась на матмех, но потом внезапно передумала и без усилий прошла на японскую филологию.

Дуров перестал сторониться самодеятельности. Если на снимке 8-го класса (был день рождения у Бертовой) он единственный из всех намеренно и гордо смотрит мимо камеры вдаль, то теперь, перед выпуском, как с иронией заметила одна из звезд класса, «с ним уже можно было общаться». Он написал пьесу для утренника по мотивам программы «Кто хочет стать миллионером» и сыграл в ней роль саркастичного ведущего.

Ощущение того, что классы и их обитатели вечно гонимы, не сплачивало его ни с кем, когда речь касалась зависимости его воли от коллективного разума. Перед выпуском параллель хотела сняться для альбома, чтобы каждый получил по экземпляру на память. Староста приступил к Дурову насчет участия в общем котле.

- Какой альбом? — спросил Дуров.
- Ну, вот такой, где мы все.
- А почему именно так будут снимать?
- Ну, вот так договорились.
- Нет, я не буду.

— Ты что, с ума сошел?

— Не буду, и все! — заорал Дуров, взбешенный, что его ставят перед фактом. — Бараны вы этикие, я не хочу, как вы, всем стадом сдавать!

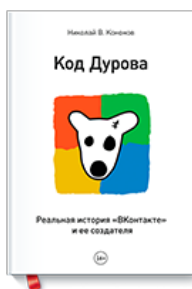
Альбом напечатали без него.

Ночью после выпускного они гуляли по набережным Петроградской стороны. Под утро добрались до квартиры Гриза, пили на кухне чай и по традиции рассказывали, кто кем видит себя в будущем. Дуров молчал.

Диевский задвинул про математику, Паперно — про лингвистику, Русин визионировал насчет кораблестроения, постебались над айкидисткой Бертовой.

Когда Дурова спросили, кем себя видит в будущем, он прервал молчание и сказал, улыбаясь: «Тотемом». Его желания, страсти, умения сложились в одну формулу. Все неинтересное и ненужное отсеялось.

Он повторил то, что окружающие расценили как шутку, не подозревая, что произнесенная фраза определит все, что произойдет дальше: «Я хочу стать интернет-тотемом».



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

